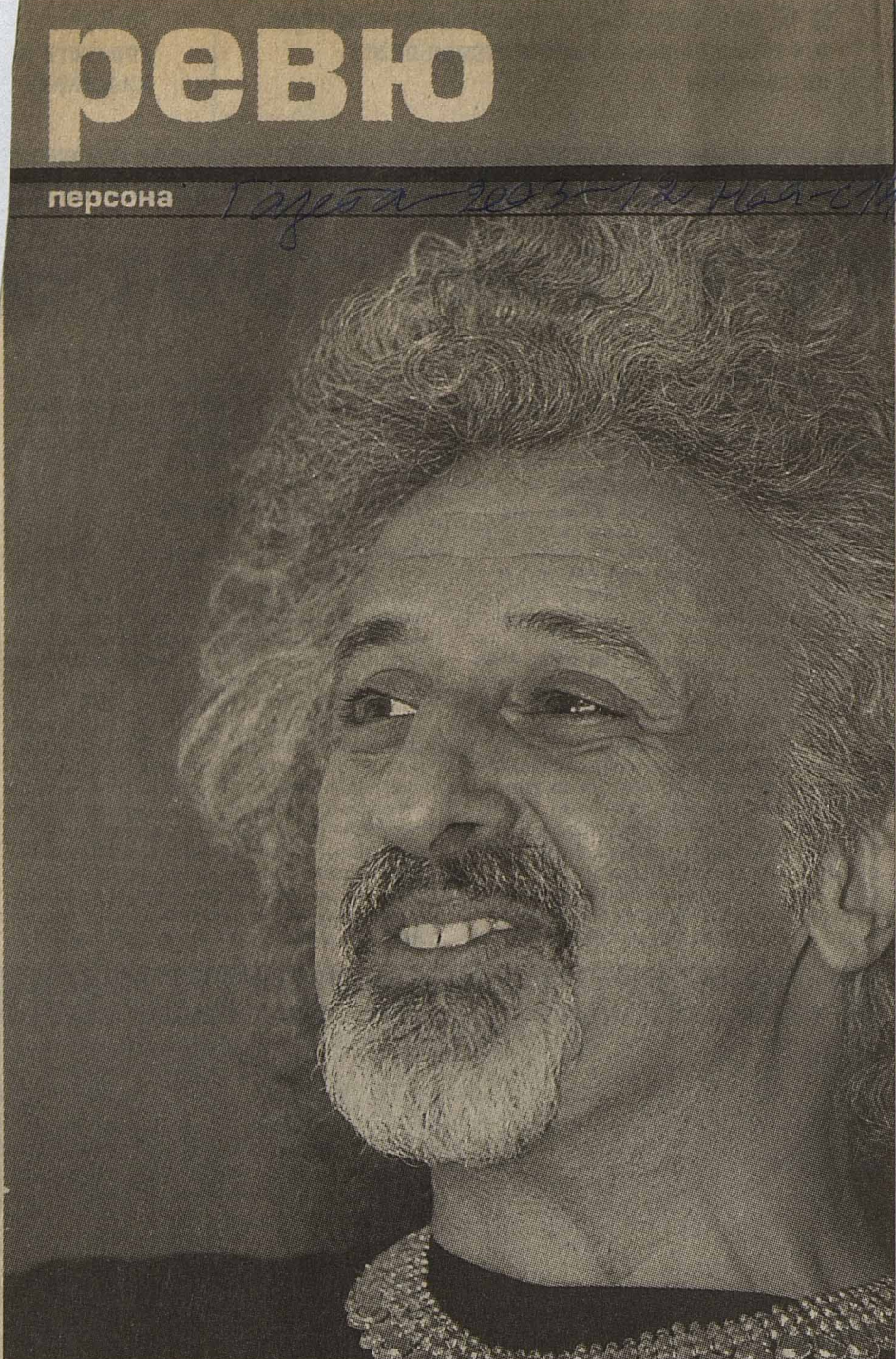




Миша Майский: «В первый раз я взял в руки виолончель в восемь лет, в тот момент, когда бросил курить» Фотограф: Игорь Захаркин/Газета

Одним из звезд афиши Второго Московского пасхального фестиваля стал приезд знаменитого виолончелиста Миши Майского. «Вариации на тему рококо» он играл столь темпераментно, что чуть не уронил смычок во время виртуозного пассажа. Но столь же виртуозно его поймал и завершил каденцию. Сейчас Майский один из самых востребованных виолончелистов мира. С **Мишей Майским** встретился корреспондент Газеты Илья Кухаренко.

Когда западные журналисты пишут о вашей судьбе, обычно перечисляют три этапа — безоблачное детство в Риге, тревожная, почти трагическая юность в Ленинграде и Москве, затем отъезд и бешеный взлет карьеры на Западе. Все это правда? Это журналистские штампы. Детство у меня было, с одной стороны, конечно, счастливое, а с другой стороны, очень непростое. Мои родители очень любили музыку и были очень талантливы, особенно мой папа. Из всей нашей семьи, как мне кажется, он был самым талантливым от природы. Он никогда не занимался — не было возможности. Мама в свое время взяла хотя бы несколько уроков фортепиано, а папа вообще не занимался. Но, тем не менее, он очень любил садиться за рояль, особенно если немножко... о нет, он не был алкоголиком, но если за ужином немножко выпьет, он садился за рояль и начинал петь и себе аккомпанировать, причем не просто так, а по всей клавиатуре. Я должен признаться, что с моим пятнадцатилетним музыкальным образованием мне никогда не снилось так играть на рояле. Моя сестра училась как пианистка, а брат начинал как скрипач, но очень скоро перешел на орган и клавиесин. Я был третьим ребенком, и когда пришла моя «очередь» — мама сказала: «Хорошо-хорошо понемножку». Ей было уже вполне достаточно мучений с двумя детьми, которые занимаются музыкой. И я это прекрасно понимаю, поскольку у меня также двое детей. Моя дочка играет на рояле, а мой сынишка — скрипач, и я знаю, что это очень непростое. И моя мама хотела, чтобы хотя бы один ребенок был «нормальным». И я вот должен был быть «нормальным». Но как-то так получилось, что я был не совсем нормальным во многих смыслах. И когда меня спрашивают: в каком возрасте я начал играть на виолончели, у я отвечаю: в тот же год, когда я бросил курить.

Довольно поздно...
Да, по стандартам того времени это и впрямь было довольно поздно, поскольку мне было уже восемь лет. Курить я начал в пять с половиной, а в восемь бросил и больше никогда не курил. В семь с половиной меня уже водили к детскому психиатру, поскольку я не мог больше пяти секунд усидеть на одном месте, и мне прописали физиотерапию, или как это называлось? И я начал заниматься вышиванием болгарским крестом. Тогда же начал играть в шахматы и даже дотянул до первого разряда. И сейчас иногда играю со своими сынишкой, но редко.
Но в восемь лет со мною что-то произошло. До этого времени я играл в футбол, был заядлым игроком. Но внезапно я объявил родителям, что я буду играть на виолончели. Это был шок для всех.

Все-таки откуда появилась эта мысль?
Здесь все ожидало какую-то романтическую историю: «Я шел по улице, и вдруг из окна доносилась неземной красоты мелодия...»
Может быть, так оно и было, но я этого не помню. Моя сестра играла на рояле, а мой брат на скрипке. И они учились в рижской музыкальной школе, которая в то время называлась «специальная музыкальная школа для особо одаренных детей». По-моему, так. И может быть, меня задело, что мой брат и сестра особо одаренные, а я нет. А виолончель, думаю, была выбрана из чисто прагматических соображений, для семейного трио, которое так никогда и не сложилось. Потому я больше всего мечтаю сыграть трио с моими детьми. Поначалу я с большим энтузиазмом отнесся к учебе в музыкальной школе, но потом опять начал играть в футбол, и до тринадцати лет я в основном играл в футбол и шахматы, к сожалению. И только тогда я понял вдруг, что, увы и ах, Пеле может спать спокойно, я ему не конкурент...

А Ростропович нет?
Не-ет. Ростропович всегда может спать спокойно. Во всяком случае, в его беспокойных

снах, если они бывают, нет моей вины. (Смеется.)
Мой первый учитель, ставший впоследствии моим близким другом, — Михаил Николаевич Ишчалов. Но он очень сильно курил, как и мой отец, который очень рано ушел из жизни именно из-за этой привычки. Поэтому у меня такое отношение к курению. Так вот, мой первый учитель, он был осетин, и у него развился туберкулез, и он взял длительный отпуск и уехал на Кавказ лечиться. Я практически несколько лет был без педагога — то есть кто-то там был, но только формально. Но когда мне исполнилось тринадцать, мой первый учитель вернулся, и он понял, что если сейчас что-то не произойдет, то уже будет поздно, и мы усиленно один год занимались, а потом он отправил меня в Ленинград, поскольку уровень в Риге на тот момент был такой, что я, даже не прикладывая особых усилий, все равно был «первый парень на деревне».

В четырнадцать я переехал в этот город, и это была очень важная ступень. Там уровень был гораздо выше, и мне пришлось начинать что-то делать. В Ленинграде я учился у Эммануэля Фишмана и в семнадцать лет попытался сыграть на всероссийском конкурсе. Внезапно. Главной моей мечтой было поехать в Москву, в которой я никогда не был. Так как у меня не было никаких надежд на проход во второй тур, я программу второго тура даже и не смотрел, в полной уверенности, что меня «срежут» на первом. На втором туре нужно было играть те самые «Вариации на тему рококо» Чайковского, которые я буду играть в Москве. Конечно, как говорится, мотивчик был знакомый, но тем не менее я их никогда не играл и не собирался. И вдруг я прошел на второй тур. Через два дня мне нужно было играть с оркестром «Вариации на тему рококо» — конечно, я собирался просто заболеть. Но Наташа Гутман, которая очень дружила с моим покойным братом и с которой я уже тогда был хорошо знаком, меня вдохновила: «Терять тебе все равно нечего — попробуй!» И я занимался часов по шестнадцать в день, кстати, Наташа тогда мне помогла. Представляет, на репетиции я положил ноты перед собой на пол и подглядывал. Вероника Дударова дирижировала, и она и оркестр смотрели на меня очень удивленным взором. Тем не менее каким-то чудом я сыграл и не только не оскандалился, но и получил первую премию. Очевидно, неплохо сыграл. Я не помню. Но знаю одно: если бы мне нужно было через неделю эти «Вариации» сыграть, я бы не смог вспомнить ни ноты. Это было как под гипнозом.

Как первоначально складывались ваши взаимоотношения с идеологией?
Мой отец был страшный идеалист — член коммунистической партии с самой юности и до конца жизни, правда, с небольшим восьмилетним перерывом. Он даже поменял фамилию — моя уже была Майский, а его настоящая фамилия была Богуславский, и все мои родственники по отцовской линии — Богуславские. После революции он попал в детдом, и его там все дразили: мол, Бога славит. И он поменял фамилию в честь Первого мая. Даже хотел, чтобы было Первомайский. Но это показалось слишком длинным. Он запрещаю моей бабушке разговаривать с мамой на идиллии при детях. Не хотел, чтобы у детей отложилось в сознании, что мы евреи, а для него это не имело никакого значения. Тем не менее в сорок восьмом году, когда я родился, его выгнали из партии. Я был очень несчастливый ребенок в этом отношении. Кто-то написал анонимное письмо, что слишком много евреев у него оказалось в подчинении. И его выгнали с работы и из партии. Он, конечно, писал письма самому Сталину, веря, что это была некая ошибка. После двадцатого съезда в пятьдесят шестом году перед ним извинились, приняли обратно в партию, но работу он уже обратно не получил, и мы довольно сильно бедствовали.

Но я не жалуюсь, как не жалуюсь и на то, что вместо того чтобы закончить Московскую консерваторию, я четыре месяца провел сначала в Бутырской тюрьме, потом на Красной Пресне, потом в Горьковской тюрьме, а потом оставшиеся четырнадцать месяцев в Горьковской области. И грузил лопатой десять тонн цемента в день. Стараясь смотреть на это с положительной точки зрения. Хотя, конечно, это было *серьезное* событие в моей жизни, но я даже где-то благодарен своей судьбе, что со мной это случилось. Несмотря на то что я из-за этого не получил диплома Московской консерватории, если они бывают, нет моей вины. (Смеется.)

рии, я получил гораздо более полное образование. *Высшее*. Сейчас это все воспринимается почти анекдотично.

В чем была основная причина ваших мытарств?
Суть этой истории очень проста. Моя сестра, которая, как я уже говорил, пианистка, жила в Риге. Она была замужем, и ее свекровь жила в Израиле, и конечно, муж хотел уехать. Она, естественно, тоже. В шестьдесят восьмом году они подали документы для получения разрешения на выезд. В Москве об этом еще никто всерьез не мог и думать, но в Риге люди уже уезжали. Внезапно им дали разрешение, и в самом начале января шестьдесят девятого года они уехали в Израиль. Естественно, московские власти решили, что я рано или поздно последую за ней. И тот факт, что я об этом не говорил и даже и не думал, они восприняли как верный признак того, что я хочу всех обмануть и сначала получить диплом Московской консерватории у Ростроповича, а только потом уехать. Это их страшно разозлило, но с точки зрения учебы у меня все было очень хорошо, кроме того, я был довольно известным студентом, так как был лауреатом конкурса Чайковского еще до консерватории. Потом Ростропович взял меня в Москву. Могу сказать, что я был в числе самых любимых его учеников.

Как состоялось ваше знакомство с Мстиславом Леопольдовичем?
У меня были с Ростроповичем значительно более интенсивные и близкие отношения, чем просто педагог и ученик. Может быть, потому, что мой отец умер внезапно в конце января шестьдесят шестого года, за три недели до всесоюзного конкурса. На тот момент Ростропович меня едва знал, но довольно часто видел на своих концертах и мастер-классах. Я вернулся из Риги после похорон своего отца и совершенно не мог себе

играла. Среди моих партнеров был такой замечательный пианист, как Питер Серкин, и многие другие, и конечно, Марта Аргерих, с которой мы близкие друзья и играем уже двадцать семь лет.
Марта даже шутит, что я самый популярный виолончелист среди пианистов, и даже ревниво замечает: «О! Я играю только с одним виолончелистом, а ты...» (Смеется.)

Вернемся все же ко времени всей этой истории с изгнанием из консерватории...
Сначала меня лишили стипендии, вдруг припомни, что я на первом курсе не посещал оркестр, что и в самом деле было нехорошо. Но как-то под крылышком Ростроповича мне ставили автоматические зачеты. Потом отменились все так называемые гастроли, о заграничные не могло быть и речи. Мы тогда стали играть трио с покойным Олегом Каганом и его первой женой Лизой Леонской. И нас начали готовить на конкурс в Мюнхен, но нас даже не допустили на прослушивание, сказав: «Пустое. Естественно, Майский не поедет играть». Но, несмотря на всяческие проблемы такого рода, я как-то с грехом пополам продолжал учиться, а мои гонители поняли, что, если ничего не произойдет более существенного, я таки закончу консерваторию и получу диплом.
Тогда они поняли, что самый простой способ избавиться от меня — посадить. Сделали это, надо сказать, довольно хитроумным способом. Можно было все обставить значительно проще, как я потом сообразил, уже сидя в тюрьме.

У меня была идефикс еще до того, как я стал учеником Ростроповича, а просто посещал его ленинградские мастер-классы, что все эти бесценные уроки обязательно надо записывать. Было ощущение, что это все куда-то пропадает впустую. И хотя я на конкурсе Чайковского играл в одолженном костюме и в одолженных туфлях, тем не менее, на мою премию — восемьсот руб-

говаривать, что надо подождать еще полгодика и заново подать документы, но я не хотел оставаться здесь и четырех часов. Мне одолжили пятнадцать тысяч рублей, чтобы я заплатил эту сумму, и еще оставил маме и брату. Но для этого моя сестра должна была передать деньги родственникам моих кредиторов в Израиле. У нее тоже не было таких денег, и она обратилась к одному очень богатому американцу, который в Израиле построил больницу для детей с врожденными недугами. И он, услышав мою историю, достал чековую книжку и фактически меня выкупил.

Насколько я понимаю, молодому музыканту довольно трудно сделать себе карьеру, особенно в Израиле?
Да, очень. Мы же ничего не знали, нам казалось, что там рай земной. И многие разочаровывались. Но у меня на этот счет не было иллюзий, поскольку Ростропович мне в этом очень помог. Он, конечно, знал огромное количество музыкантов там. Когда я его спросил, имеет ли смысл мне заканчивать мое образование на Западе, получая диплом, он ответил: «Ну, ты знаешь, старик, диплом — это бумажка. И если тебе вдруг безумно повезет и ты сможешь зарабатывать на жизнь концертами, я думаю, что ты уже можешь справиться сам. Но, скорее всего, все будет иначе. Молодому виолончелисту сделать сольную карьеру на Западе очень трудно, особенно первые пятьдесят лет. Поэтому, если ты сможешь получить стипендию, лучше поучиться, чем играть в оркестре или преподавать». Я спросил: «Кого бы вы порекомендовали?». Он сказал, что есть две известные виолончельные школы — русская и французская. «Так как ты попробовал русскую, теперь имеет смысл попробовать французскую, но вот у кого? Марешаль — умер. Фурнье не преподает. Наверно преподает слишком много. И так далее... Знаешь я что тебе скажу: самый лучший француз... это Пятгорский». Это был, как вы понимаете, еврей из России, живущий в Калифорнии. Единственное, что у него было французско-го, — это его жена, которая была дочкой Ротшильда из Парижа.

Приехав в Израиль, я получил такой же совет от Зубина Меты. Он сказал, что у Пятгорского уже неважно со здоровьем, и никто не знает, сколько ему еще осталось, потому, пока у меня сейчас есть время, мне лучше поехать к нему. Это было самое лучшее время в моей жизни. Я не пытаюсь сказать, что Пятгорский был лучшим педагогом, чем Ростропович. Я хочу сказать, что с Пятгорским я был лучше как ученик, во-первых, поскольку стал старше, а во-вторых, для меня эти два года были как двадцать лет. И потом, это были последние годы жизни Пятгорского, он чувствовал, что умирает... Еще он обожал говорить по-русски. И говорил он совсем не так, как я, — очень изысканно. А я не говорил тогда по-английски. И Пятгорский чувствовал, что это последний шанс поделиться с кем-то своим невероятным опытом. А я был как высушенная губка — все это впитывал. Мы встречались практически каждый день. Большею частью дома. Каждый день я ему играл что-то новое (за четыре месяца больше ста сочинений). Все, что я мог и что не мог, — это не имело значения. Он давал мне какие-то общие идеи, подсказки. Пищу для ума. И я до сих пор чувствую, что это «перевариваю».

Каждый день мы с ним играли партию в шахматы. Он тоже был большим любителем. Его вдова, та вообще феноменально играет в шахматы до сих пор. Некогда она заняла второе место на чемпионате Америки среди женщин. Пятгорского, я должен честно признаться, я обыгрывал, а вот она (мы с ней обычно блицевали) — она делала со мной что хотела. У нее феноменальная коллекция шахмат, и она, будучи дочкой Ротшильда и, как вы понимаете, не нуждаясь в средствах, дважды организовывала знаменитый Кубок Пятгорского в шестидесятых годах, где участвовали все самые лучшие шахматисты мира.
Он очень любил играть дуэтом. Давал мне одну из своих Стравински, которую я без дрожи не мог взять в руки... Это было в самом деле лучшее время в моей второй жизни.

Уверен, что в первой половине вашей «двойной» жизни вы одевались на сцене совершенно иначе, чем сейчас. Откуда взялся этот облик нынешнего Миши Майского?
Все эти костюмы появились из чисто практических соображений. Я не такой музыкант, который контролирует себя во время игры, — я довольно много двигаюсь и потому сильно потею. И из-за адреналина во время концерта я всегда мокрый, а виолончелисту это очень мешает, все это льется на инструмент, особенно с моими волосами. Их всегда было довольно много. И это тоже, наверное, неслучайно. Один японский журналист меня спросил: «Вы любите длинные волосы, потому что, когда вы сидели в тюрьме, у вас их не было вообще?» Меня это совершенно ошарашило, я никогда об этом не думал, но, может быть, и в самом деле, я люблю длинные волосы по этой подсознательной причине?
Что касается одежды — мне просто безумно неудобно и жарко в этом фраке и бабочке. Я сначала экспериментировал — играл в том, что по-русски называлось водолазкой. И я еще надевал на лоб такую повязку в тон водолазке, как у теннисистов. По этому поводу шутили, сравнивая меня с самым известным теннисистом той эпохи Бьорном Боргом. А потом я стал везде искать свободную рубашку, обязательно без пугович на рукавах, которые у меня всегда очень стучат по виолончели. Я их придумал сам — сначала мне ее пошили в Сингапуре, потом в Сеуле — такие шелковые рубашки, разных цветов, которые я очень быстро менял. И только потом я открыл для себя гениального японского дизайнера, которого зовут Иссей Мияки. Его одежда безумно удобна, красива, но что наиболее важно — практична. Ее не надо гладить — я могу влихнууть шесть-восемь вариантов в мою небольшую сумку, а потом достать и сразу надеть.

Но подозрительно в этом наверняка есть какой-то смысл. Сколько себя помню, у меня всегда была аллергия на униформу и, как говорят англичане, uniformity. Все должны быть одеты по форме и вести себя одинаково. В армии, полиции, больнице или даже в симфоническом оркестре это имеет смысл. Но солисты? Поэтому я никогда не играл в оркестре. Я один раз пытался, и это была катастрофа. Только недавно я с Berliner Philharmoniker и Зубином Метой записывал «Дон Кихота» Штрауса — сколько я ни пытался играть в труппе вместе с группой виолончелей, я все время выбивался. Для меня это какое-то чудо: как они могут играть вместе — двенадцать виолончелей.
Многие считают, что я пытаюсь из концерта сделать fashion-show. Это совершенно наоборот. Именно потому, что я не считаю, что концерт — это fashion-show, я не выхожу на сцену показывать свой замечательный фрак Christian Dior, смокинг Armani и так далее. Самое главное — это музыка, и все, что мне помогает лучше себя чувствовать на сцене, я надеваю именно по этой причине. Конечно, многим это нравится, а многим не нравится, но я считаю, что, если ты нравишься всем, значит, что-то не так. Поскольку у очень большого количества людей довольно плохой вкус.



Миша Майский (крайний слева) в компании друзей, среди которых Наталья Гутман, Алексей Любимов, Олег Каган и Валерий Афанасьев (крайний справа). Фото конца 60-х, из личного архива Натальи Гутман

представить, как играть после этого на конкурсе. Ростропович узнал об этом моем состоянии и, несмотря на свой очень плотный график, послал кого-то из своих студентов купить бутылку водки. Затем попросил всех выйти в коридор и подождать, пригласил меня. Распил со мной эту бутылку и целый час говорил со мной за жизнь. Рассказал про свою молодость, как у него умер отец, когда ему было, если не ошибаюсь, четырнадцать лет. И убедил меня в том, что я просто обязан играть, в память отца. И когда я сыграл на конкурсе и попал в финал, где был единственным из всех шести финалистов, который не являлся его учеником, он решил исправить эту ситуацию.
Я жил тогда в интернате ленинградской десятилетки, в условиях, прямо скажем, не идеальных. И Ростропович мне очень помог и материально, и морально. Позже, когда я поступил к нему в консерваторию, он мне был как второй отец. Я всегда говорил, что я самый счастливый виолончелист в мире. По многим причинам, но главная — я единственный, кому посчастливилось учиться у Ростроповича, и у Пятгорского. Это, кстати, заметил не я, а Пятгорский. Для меня оба они были самые великие — не только виолончелисты и педагоги, но как личности.

Кем для вас стал Григорий Пятгорский?
Пятгорский, как и Ростропович, тоже стал для меня больше чем педагог. Я всегда говорю, что сейчас — это моя вторая жизнь. Я вынужден был начинать все сначала. Мне говорил ни слова по-английски. Немножко по-немецки, так как учил этот язык в консерватории. Уехав в Израиль, не говорил ни слова на иврите. И, как вы понимаете, в течение тех двух злополучных лет почти не видел виолончель, не то что не играл на ней. Меня никто не знал на Западе. Нужно было все начинать с нуля, как после какой-нибудь автомобильной катастрофы, когда люди заново учатся ходить или говорить. Потому мне кажется, что это моя вторая жизнь.
Это даже удобно. Когда меня спрашивают, сколько мне лет, я всегда говорю: как посмотришь — по паспорту мне уже пятьдесят пять, но это какое-то недоразумение, поскольку я себя ощущаю на тридцать. И так оно и есть, поскольку я считаю своим вторым днем рождения 7 ноября 1972 года, когда в день Великой Октябрьской революции на Красной площади был парад, а я в это время, в девять утра, приехал ночным поездом в Вену. По пути в Израиль.
В итоге я поехал в Калифорнию, где провел всего четыре месяца с Пятгорским. С Ростроповичем я занимался четыре года, но мне кажется, если сложить все часы, проведенные вместе с Ростроповичем и Пятгорским, то с Пятгорским за четыре месяца получил-ся едва ли не больше времени, чем с Ростроповичем за четыре года. Поскольку Ростропович очень много концертировал, а занятия с Пятгорским были очень интенсивными.

Недавно Пятгорскому исполнилось бы сто лет...
Совершенно верно — семнадцатого апреля. Еще я чувствую себя самым счастливым виолончелистом еще и потому, что мне единственному довелось сыграть больше двадцати концертов и сделать три записи с Леонардом Бернштейном, который для меня был одним из самых великих музыкантов. Еще мне безумно повезло и до сих пор везет с пианистами. Еще с консерваторских времен существовал наш ансамбль с Радой Лупу. И после моего отъезда мы с ним еще

лей — я купил комиссионном магазине на Красной Пресне магнитофон Sony. Катушечный. И записывал уроки — все это знали. Я даже устраивал потом публичные прослушивания в Риге, в Ленинграде с собственными комментариями. И на пятом курсе этот магнитофон полностью износился, стал «плавать» звук. И я искал аналогичный, но лучшего качества аппарат. В нормальных магазинах их не продавали, в единственном приличном комиссионном на Красной Пресне уже давно ничего подобного не было, а перед магазином была толкучка. Обмен пластинками, техникой. Ко мне подошел молодой человек и спросил, что я ищу. Без всяких подозрений я рассказал ему о моих нуждах. Он сказал, что магнитофона у него нет, но у него есть сертификаты в «Березку», по которым я могу купить новый магнитофон и гораздо лучше, а ему как раз срочно нужны были деньги, поскольку ему предложили путевку на юг.
Я был тогда наивный и, одолев нехватающую часть суммы у друзей, купил эти сертификаты. В магазине я долго выбирал нужный аппарат и даже записывал на него камертон, чтобы удостовериться, что он не «плавает». Это мне помогло впоследствии, так как меня арестовали прямо в магазине дружинники, которые потом оказались вполне симпатичными ребятами, и они честно рассказали, как долго я выбирал и проверял. И это было еще одним свидетельством, что я покупал магнитофон для себя. Если бы меня могли заподозрить, что я покупал его для дальнейшей спекуляции, мне бы пришили 88-ю статью, пункт два: «за спекуляцией валютными ценностями», по которой мне полагалось от восьми до пятнадцати, а в особых случаях с применением высшей меры. Но удалось доказать, что я проходил по первому пункту той же статьи «за нарушение правил валютных операций», а значит, мне всего полагалось от трех до восьми. Ерунда вообще... (Смеется.)
И в связи с тем, что мне присудили полтора года условно, — хотя условность эта была тоже условная, с применением особого указа «о привлечении к труду в местах, определяемых органами» (или как-то так), по статье, которая предполагала минимум три года, — говорил, что посадил ни за что. Было бы за то — убил бы. (Смеется.)
Тем не менее полтора года я отработал от звонка до звонка, что называется. После этого, чтобы избежать армии, я провел два месяца в психбольнице. Что также было очень неловко — я начал там заниматься йогой и медитацией. Там был очень интересный доктор-психиатр, который мне помог таким образом избежать службы в армии. После психбольницы меня уже не могли призвать.

Как все-таки удалось уехать?
Только выйдя из больницы, я подал заявление на выезд, и в итоге я стал последним, кому пришлось заплатить за образование. Летом 1972 года одним из способов, которым советские власти пытались приостановить волну еврейской эмиграции, была принудительная плата за полученное образование. Но после большого скандала по этому поводу в западной прессе такую меру отменили. Но когда я уезжал, то в Риге сделали вид, что ни о какой отмене еще не слышали, и заставили меня заплатить огромную сумму — девять тысяч шестьсот рублей, тогда как мои друзья, которые уезжали из Москвы в то же самое время, уже не платили ни копейки. И это при том, что я не имел диплома. Таких денег у меня не было, и меня все стали